

НАДО было, наверное, прожить долгую, почти восьмидесятилетнюю жизнь, чтобы написать о своей памяти так: «Память — как длинная прерванная нить. Когда я пишу, я все время словно бы пробуждаюсь от сна в надежде, что вот-вот схвачу образ, который потянет за собой цепь, непрерывный сон. Но фрагменты сна остаются фрагментами, а целая, случившаяся во сне история ускользает...»

Это написал знаменитый англичанин Грэм Грин в автобиографической книге «Этакая жизнь», вышедшей в 1971 году. В словах писателя — усталая мудрость и печальное осознание невозможности целостного реконструирования прошлого из хрупких разрозненных обломков памяти. Тем не менее Грин после длительного перерыва все-таки попытался сделать это снова и в прошлом году выпустил продолжение своей автобиографии под заглавием «Пути гветста».

Почему книга названа так? Убедительного объяснения у меня нет. В своем шумевшем романе «Рэгтайм», смешивающем фактологические приемы Дос Пассоса и фантазматическую американскую прозу, Доктору вспоминает человека, сделавшего «эскапизм» своей профессией, — фокусника Гудини. Гудини засовывают в банковские сейфы, закопывают в кандалы Синг-Синга, прячут в холодильнике, но он отовсюду магическим образом удирает.

Грэм Грин, несмотря на название его автобиографии, эскапистом никак не назывался. Блистательная язвительная сатира «Нашего человека в Гаване», едкая горечь «Тихого американца», трагическое сострадание «Суги дела», наконец, ужас гитлеровской тишины в «Комедиантах» — разве это гветста от действительности? В своем последнем романе «Доктор Фишер из Женеви», или «Вечеринка с бомбой», еще, к сожалению, незнакомом советскому читателю, Грин, по его собственному выражению, производит безжалостное «исследованье предела жадности» богатых. Моральная опустошенность миллионера, сколотившего себе состояние на зубной пасте и окружившего себя мафией приживал, описана с беспощадной иронией, перерастающей в гражданственную сатиру. Дочь Фишера находит убийственное определение для этой мафии — «жабы». Доктор Фишер — это, по сути, постмилитаристский гетстапел, с изразяющим сладострастием пыщающий окружающим своими патологическими забавами.

Грэм Грин отнюдь не гнушается вмешиваться в вопросы текущей политики и в публицистических выступлениях, и в реках, и в маленьких, ядовито вежливых письмах в редакции газет по многим поводам — не исключая его определенного гражданского отношения к кровавым расправам в Сальвадоре. Далеко не со всеми высказываниями Грэма Грина можно согласиться, но в одном его обвинить нельзя — в собственном равнодушии к раздираемому противоречиями, очень еще не совершенному, но все-таки нашему общему миру.

Вот и сейчас, когда, по его безобидному согласию дан интервью для «Литературной газеты», я прилетел в городок на юге Франции — Антиб, где сейчас живет и работает Грэм Грин, писатель после традиционного английского вопроса о здоровье моей жены и детей, без каких-либо подталкиваний с моей стороны, заговорил о ханжестве реакционных западных кругов, молчавших об ужасах полуголодного геноцида, а сейчас ополчившихся на новое коммунистическое правительство. С загоревшимися глазами рассказывал Грэм Грин о молодой сандинистской Никарагуа, где недавно побывал, о шольниках, поднимающих в горы, чтобы ликвидировать неграмотность крестьян. На заглавном листе машинописной рукописи, лежащей на столе писателя, я заметил слово «Сомоса». Но спросить Грина, его ли собственная это рукопись или чужая, я постеснялся, а сам он об этом не заговаривал.

Седой, сухощавый, высокого роста, с обсыпанным коричневыми крапинками лицом, с шелющимися от загара носом, Грин вовсе не выглядел на свои 76 лет. Искорки, свечащиеся в его неумолимо лобовитых ярко-голубых глазах, отвлекали внимание от морщин у него на лбу и красновато-кирпичной шее. Особая черта Грина — это, пожалуй, его любопытство к собеседнику и, в отличие от многих наших коллег, желание больше услышать, чем сказать. Без этой черты вряд ли удалось бы Грину создать такую галерею собирательных и документальных образов. Еще одна черта: он не любит говорить лишнего слов. Говорит просто, только по делу.

Впрочем, так же он и пишет. Грин живет один в крошечной двухкомнатной квартирке с балконом, выходящим к морю. В квартире тоже ничего лишнего. Я заметил только одну картину — кисти его друга, кубинского художника Рене Портокарреро. Грин работает каждый день. Пишет в день, как он сам сказал, не больше трехсот слов. Может показаться, что это мало, но почти каждый год получается новая книга. Не любит давать

интервью, но он когда-то сам был журналистом и скрепя сердце иногда мирится с этим как с неизбежным злом. А у меня случилась авария. Други подарили мне японский мини-магнитофон, чудо современной техники, и он никак не хотел включаться. Это, однако, не вызвало у Грина никакого раздражения. Он принял живейшее участие в кропотливом изучении инструкции и в нажимании на разнообразие кнопки, но, несмотря на свою службу в прошлом в военной разведке, оказался, как и я, полным профаном в звукозаписывающем оружии. Словом, все развивалось по «Нашему человеку в Гаване». Была суббота, и единственной открытой мастерской в Антибе оказалась фотомастерская, хозяин которой, дружески поздоровавшись с Грино, начал, несмотря на свое полное невежество, колотать в магнитофон. Возникли другие вспомогательные персонажи — хозяин мебельного магазина, перемалывавший известную маляра, зеленцов из соседней лавки. Маляр оказался самым инстинктивно мудрым — его выслушало незнание английского

языка, и он, нажав кнопку с надписью «off», обnoxious выключил, заставил ленту в кассете зашевелиться. Мы были потрясены, а потом соображали, что какой-нибудь японец на конвейере, тоже не знающий английского, перепутал кнопки. — Лента дагается, — смеясь, проанализировал ситуацию Грин. — Но будет ли магнитофон записывать? Вы, Женева, — это «наш человек в Антибе».

Я боялся поверить в удачу, боялся крутить ленту обратно. Положение было безвыходное. Если записывать от руки, можно уповить главное, но потерять какой-нибудь нюанс. А главное иногда — именно в нюансах. Мы вернулись в квартиру Грина, не останавливая магнитофона. В случае незаписи японский магнитофон грозил мне моим личным Пирл-Харбором, но я начал интервью.

— В книге «Этакая жизнь» вы приводите ваше первое интервью, данное в детстве «Шольной домашней газете». Тогда вам было семь лет, и на вопрос «Ваша любимая читатель?» вы ответили: «Мне бы двух товарищей — и я удержу врага...» Остается ли эта цитата любимой? — Грин недоверчиво глянул сквозь стекло магнитофона. Но ленту крутила.

— Это цитата из «Песен древнего Рима» Маклеа. Там есть эпизод о воине, который держался в одиночку против множества врагов на берегу Тибра. Эпизод тронул мое мальчишеское воображение. Но это было так давно... Я продолжал.

— Много лет назад, в битности оксфордским студентом, вы выпустили свою единственную книгу стихов, которую мне не удалось прочесть... Грин улыбнулся уголками губ: — Это было очень плохо. Теперь, правда, книга стала редкостью, и в букинистическом магазине стоит около 250 фунтов стерлингов.

— А сколько экземпляров было продано? — Триста... — Грин помедлил и добавил: — К счастью, это был весь тираж... — Нап поз Некрасов когда-то пытался склеить весь тираж своего неудачного сборника «Мечты и звуки». Если бы вам представилась возможность, согласились бы вы на переиздание? — Забавно, что именно сейчас я подготавливаю избранные стихи для переиздания небольшим тиражом. В книгу войдут серьезные и шуточные стихи, написанные за многие годы.

— А вы могли бы предложить что-нибудь для русского перевода? — Грин задумался, покачал головой: — Ну, пожалуй, стихотворения три... Одно из них про «русскую рулетку». (Описанная Лермонтовым в повести «Фаталист» игра со смертью, когда к виску прикладывается пистолет, — Е. Е.). Когда я учился в Оксфорде, я играл в русскую рулетку... — Слава богу, вы живы... Почему, однако, вы оставили поэзию и перешли на прозу? — Давайте закроем окно. Слишком шумят машины, и я боюсь за вашу запись... — деликатно предложил Грин. — Я бросил поэзию, потому что понял, как он сам сказал, не больше трехсот слов. Может показаться, что это мало, но почти каждый год получается новая книга. Не любит давать

интервью, но он когда-то сам был журналистом и скрепя сердце иногда мирится с этим как с неизбежным злом. А у меня случилась авария. Други подарили мне японский мини-магнитофон, чудо современной техники, и он никак не хотел включаться. Это, однако, не вызвало у Грина никакого раздражения. Он принял живейшее участие в кропотливом изучении инструкции и в нажимании на разнообразие кнопки, но, несмотря на свою службу в прошлом в военной разведке, оказался, как и я, полным профаном в звукозаписывающем оружии. Словом, все развивалось по «Нашему человеку в Гаване». Была суббота, и единственной открытой мастерской в Антибе оказалась фотомастерская, хозяин которой, дружески поздоровавшись с Грино, начал, несмотря на свое полное невежество, колотать в магнитофон. Возникли другие вспомогательные персонажи — хозяин мебельного магазина, перемалывавший известную маляра, зеленцов из соседней лавки. Маляр оказался самым инстинктивно мудрым — его выслушало незнание английского

языка, и он, нажав кнопку с надписью «off», обnoxious выключил, заставил ленту в кассете зашевелиться. Мы были потрясены, а потом соображали, что какой-нибудь японец на конвейере, тоже не знающий английского, перепутал кнопки. — Лента дагается, — смеясь, проанализировал ситуацию Грин. — Но будет ли магнитофон записывать? Вы, Женева, — это «наш человек в Антибе».

Я боялся поверить в удачу, боялся крутить ленту обратно. Положение было безвыходное. Если записывать от руки, можно уповить главное, но потерять какой-нибудь нюанс. А главное иногда — именно в нюансах. Мы вернулись в квартиру Грина, не останавливая магнитофона. В случае незаписи японский магнитофон грозил мне моим личным Пирл-Харбором, но я начал интервью. — В книге «Этакая жизнь» вы приводите ваше первое интервью, данное в детстве «Шольной домашней газете». Тогда вам было семь лет, и на вопрос «Ваша любимая читатель?» вы ответили: «Мне бы двух товарищей — и я удержу врага...» Остается ли эта цитата любимой? — Грин недоверчиво глянул сквозь стекло магнитофона. Но ленту крутила.

женни: «Поэзия — это то, чего нельзя высказать прозой». Согласны ли вы с ним? — Грин кивнул: — Совершенно верное определение. В том моем маленьком сборничке только несколько вещей, которые я не мог бы выразить прозой, и именно поэтому он так плох. — А какие, на ваш взгляд, у поэзии преимущества перед прозой, и наоборот? — Грин задумался: — У поэзии большая напряженность. Это как фотография, разведка, оказался, как и я, полным профаном в звукозаписывающем оружии. Словом, все развивалось по «Нашему человеку в Гаване». Была суббота, и единственной открытой мастерской в Антибе оказалась фотомастерская, хозяин которой, дружески поздоровавшись с Грино, начал, несмотря на свое полное невежество, колотать в магнитофон. Возникли другие вспомогательные персонажи — хозяин мебельного магазина, перемалывавший известную маляра, зеленцов из соседней лавки. Маляр оказался самым инстинктивно мудрым — его выслушало незнание английского

языка, и он, нажав кнопку с надписью «off», обnoxious выключил, заставил ленту в кассете зашевелиться. Мы были потрясены, а потом соображали, что какой-нибудь японец на конвейере, тоже не знающий английского, перепутал кнопки. — Лента дагается, — смеясь, проанализировал ситуацию Грин. — Но будет ли магнитофон записывать? Вы, Женева, — это «наш человек в Антибе».

Я боялся поверить в удачу, боялся крутить ленту обратно. Положение было безвыходное. Если записывать от руки, можно уповить главное, но потерять какой-нибудь нюанс. А главное иногда — именно в нюансах. Мы вернулись в квартиру Грина, не останавливая магнитофона. В случае незаписи японский магнитофон грозил мне моим личным Пирл-Харбором, но я начал интервью. — В книге «Этакая жизнь» вы приводите ваше первое интервью, данное в детстве «Шольной домашней газете». Тогда вам было семь лет, и на вопрос «Ваша любимая читатель?» вы ответили: «Мне бы двух товарищей — и я удержу врага...» Остается ли эта цитата любимой? — Грин недоверчиво глянул сквозь стекло магнитофона. Но ленту крутила.

— Это цитата из «Песен древнего Рима» Маклеа. Там есть эпизод о воине, который держался в одиночку против множества врагов на берегу Тибра. Эпизод тронул мое мальчишеское воображение. Но это было так давно... Я продолжал.

— Много лет назад, в битности оксфордским студентом, вы выпустили свою единственную книгу стихов, которую мне не удалось прочесть... Грин улыбнулся уголками губ: — Это было очень плохо. Теперь, правда, книга стала редкостью, и в букинистическом магазине стоит около 250 фунтов стерлингов.

— А сколько экземпляров было продано? — Триста... — Грин помедлил и добавил: — К счастью, это был весь тираж... — Нап поз Некрасов когда-то пытался склеить весь тираж своего неудачного сборника «Мечты и звуки». Если бы вам представилась возможность, согласились бы вы на переиздание? — Забавно, что именно сейчас я подготавливаю избранные стихи для переиздания небольшим тиражом. В книгу войдут серьезные и шуточные стихи, написанные за многие годы.

— А вы могли бы предложить что-нибудь для русского перевода? — Грин задумался, покачал головой: — Ну, пожалуй, стихотворения три... Одно из них про «русскую рулетку». (Описанная Лермонтовым в повести «Фаталист» игра со смертью, когда к виску прикладывается пистолет, — Е. Е.). Когда я учился в Оксфорде, я играл в русскую рулетку... — Слава богу, вы живы... Почему, однако, вы оставили поэзию и перешли на прозу? — Давайте закроем окно. Слишком шумят машины, и я боюсь за вашу запись... — деликатно предложил Грин. — Я бросил поэзию, потому что понял, как он сам сказал, не больше трехсот слов. Может показаться, что это мало, но почти каждый год получается новая книга. Не любит давать

интервью, но он когда-то сам был журналистом и скрепя сердце иногда мирится с этим как с неизбежным злом. А у меня случилась авария. Други подарили мне японский мини-магнитофон, чудо современной техники, и он никак не хотел включаться. Это, однако, не вызвало у Грина никакого раздражения. Он принял живейшее участие в кропотливом изучении инструкции и в нажимании на разнообразие кнопки, но, несмотря на свою службу в прошлом в военной разведке, оказался, как и я, полным профаном в звукозаписывающем оружии. Словом, все развивалось по «Нашему человеку в Гаване». Была суббота, и единственной открытой мастерской в Антибе оказалась фотомастерская, хозяин которой, дружески поздоровавшись с Грино, начал, несмотря на свое полное невежество, колотать в магнитофон. Возникли другие вспомогательные персонажи — хозяин мебельного магазина, перемалывавший известную маляра, зеленцов из соседней лавки. Маляр оказался самым инстинктивно мудрым — его выслушало незнание английского

языка, и он, нажав кнопку с надписью «off», обnoxious выключил, заставил ленту в кассете зашевелиться. Мы были потрясены, а потом соображали, что какой-нибудь японец на конвейере, тоже не знающий английского, перепутал кнопки. — Лента дагается, — смеясь, проанализировал ситуацию Грин. — Но будет ли магнитофон записывать? Вы, Женева, — это «наш человек в Антибе».

Я боялся поверить в удачу, боялся крутить ленту обратно. Положение было безвыходное. Если записывать от руки, можно уповить главное, но потерять какой-нибудь нюанс. А главное иногда — именно в нюансах. Мы вернулись в квартиру Грина, не останавливая магнитофона. В случае незаписи японский магнитофон грозил мне моим личным Пирл-Харбором, но я начал интервью. — В книге «Этакая жизнь» вы приводите ваше первое интервью, данное в детстве «Шольной домашней газете». Тогда вам было семь лет, и на вопрос «Ваша любимая читатель?» вы ответили: «Мне бы двух товарищей — и я удержу врага...» Остается ли эта цитата любимой? — Грин недоверчиво глянул сквозь стекло магнитофона. Но ленту крутила.

— Это цитата из «Песен древнего Рима» Маклеа. Там есть эпизод о воине, который держался в одиночку против множества врагов на берегу Тибра. Эпизод тронул мое мальчишеское воображение. Но это было так давно... Я продолжал.

писать для человечества, он бесознательно старается помочь самому себе. Не в смысле делания денег, разумеется... Не остановился ли наш магнитофон? — Выражения Грина (наш магнитофон) меня тронуло. Ничто так не сблизжает, как общая борьба, — даже с магнитофоном. — Не в смысле делания денег, а в смысле победы над ним... — уточнил Грин, убедившись, что лента потихоньку ползет. — Может быть, вы боитесь четкой общественной мотивации писательской профессии, потому что боитесь дидактической литературы? — Грин неожиданно переспросил: — Что это за дидактическая литература? — Ну, скажем, напоминающая банальные лекции на темы нравственности... Такая литература при всех ее благих намерениях вместо преодоления скуки становится ее усугублением, — пояснил я. — А вот вы о чем... Ненавижу высокопарные моральные послания. — Но само произведение

больше, чем сегодня. Сейчас есть ядерная угроза. Она страшна для нового поколения, которое, возможно, будет ощущать эту угрозу в течение всей жизни. Но я лично не чувствую себя под такой же абсолютной неизбежной тенью, как между тридцатью третьим и тридцатью четвертым... — Считаете ли вы, что новой мировой войны можно избежать? — Да, я еще продолжаю верить в то, что ее можно избежать. А в тридцать третьем у меня такой веры не было... Я задал вопрос, на который нелегко ответить: — Что, на ваш взгляд, является причиной мировых войн? — Грин отвечал медленно, как бы находя ответ ощупью: — Перед началом второй мировой войны был сумасшедший, который каким-то образом овладел воображением многих людей. Безумие передалось от одного к другому, как истерия. Вы не наблюдали никогда, как чья-то истерия начинает вас высасывать в свой вихрь? Так Гитлер, этот сумасшедший, втягивал людей в вихрь своей истерии. Но сегодня, к счастью, у нас нет ничего подобного... Я не совсем согласился: — Но втягивание народов в войну — хотя бы «холодную» — все-таки существует. Ныне «холодная война», как Снежная Королева, — она тоже по-прежнему ведет к оледенению сердца, что мы, люди, принадлежим к разным системам, в силах предпринять для того, чтобы уничтожить «холодную войну», за которой может последовать третья и, вероятно, последняя мировая война? — Грин не был настроен песимистически: — Я считаю, что в данное время опасность существует, но она все-таки не выходит за разумные пределы... Но что такое разумные пределы опасности? Реальная ядерная угроза, нависшая над человечеством, эскалация гонимых вооружений — о какой разумности всего этого можно вести речь? Мне кажется, что в данном случае Грин попытался выдать желаемое за действительное. — А чем мы, писатели мира, могли бы помочь взаимопониманию народов? Или мы ошибаемся и слишком превеличиваем свою роль в предотвращении войн? — Сказать, что мы всецельно, действительно значили бы превеличить свою роль. Я не верю, что литература имеет большое влияние на политику, — сказал Грин. — Почему? — вырвалось у меня. Внутренне я никогда не был согласен с такой позицией. Конечно, литература и политика — разные профессии. Но разве не благодаря воспитанию литературой выдвигаются многие прогрессивные политические идеи? Разве русская литература девятнадцатого века не помогла отмене крепостного права? Однако навязывать свои взгляды Грину — человеку другой среды, другого воспитания — я не мог: все-таки это он давал мне интервью, а не я ему. — Мы не педагоги, у нас нет опыта политической власти, — пожал плечами Грин. — Наша

в своем ответе Грин был четок: — Я бы чувствовал себя лично виноватым в каждом случае, если бы не выражал своего протеста против несправедливости. В этом смысле я признаю необходимость «посланий». — Я напомнил: — В тридцать третьем, в год прихода Гитлера к власти, вы написали эссе о Хансе Кристиане Андерсене. Помните, как девочка Герда мужественно сражается за сердце своего брата, одолевшего от дыхания Снежной Королевы... Грин засмеялся: — Я совсем позабыл эту мою статью. И скажу почти то же... Хотя нет... Припомню... — Фашизм — это своего рода оледенение сердца. Чувствовали ли вы тогда, в тридцать третьем, опасность мировой войны, которую может принести фашизм? — Грин посерьезнел: — Да, я чувствовал такую опасность с тридцать третьего по тридцать девятый. Чувствовалось, что будет война. Мы все жили под ее тенью. Эта вещь ощущалась тогда гораздо

больше, чем сегодня. Сейчас есть ядерная угроза. Она страшна для нового поколения, которое, возможно, будет ощущать эту угрозу в течение всей жизни. Но я лично не чувствую себя под такой же абсолютной неизбежной тенью, как между тридцатью третьим и тридцатью четвертым... — Считаете ли вы, что новой мировой войны можно избежать? — Да, я еще продолжаю верить в то, что ее можно избежать. А в тридцать третьем у меня такой веры не было... Я задал вопрос, на который нелегко ответить: — Что, на ваш взгляд, является причиной мировых войн? — Грин отвечал медленно, как бы находя ответ ощупью: — Перед началом второй мировой войны был сумасшедший, который каким-то образом овладел воображением многих людей. Безумие передалось от одного к другому, как истерия. Вы не наблюдали никогда, как чья-то истерия начинает вас высасывать в свой вихрь? Так Гитлер, этот сумасшедший, втягивал людей в вихрь своей истерии. Но сегодня, к счастью, у нас нет ничего подобного... Я не совсем согласился: — Но втягивание народов в войну — хотя бы «холодную» — все-таки существует. Ныне «холодная война», как Снежная Королева, — она тоже по-прежнему ведет к оледенению сердца, что мы, люди, принадлежим к разным системам, в силах предпринять для того, чтобы уничтожить «холодную войну», за которой может последовать третья и, вероятно, последняя мировая война? — Грин не был настроен песимистически: — Я считаю, что в данное время опасность существует, но она все-таки не выходит за разумные пределы... Но что такое разумные пределы опасности? Реальная ядерная угроза, нависшая над человечеством, эскалация гонимых вооружений — о какой разумности всего этого можно вести речь? Мне кажется, что в данном случае Грин попытался выдать желаемое за действительное. — А чем мы, писатели мира, могли бы помочь взаимопониманию народов? Или мы ошибаемся и слишком превеличиваем свою роль в предотвращении войн? — Сказать, что мы всецельно, действительно значили бы превеличить свою роль. Я не верю, что литература имеет большое влияние на политику, — сказал Грин. — Почему? — вырвалось у меня. Внутренне я никогда не был согласен с такой позицией. Конечно, литература и политика — разные профессии. Но разве не благодаря воспитанию литературой выдвигаются многие прогрессивные политические идеи? Разве русская литература девятнадцатого века не помогла отмене крепостного права? Однако навязывать свои взгляды Грину — человеку другой среды, другого воспитания — я не мог: все-таки это он давал мне интервью, а не я ему. — Мы не педагоги, у нас нет опыта политической власти, — пожал плечами Грин. — Наша

в своем ответе Грин был четок: — Я бы чувствовал себя лично виноватым в каждом случае, если бы не выражал своего протеста против несправедливости. В этом смысле я признаю необходимость «посланий». — Я напомнил: — В тридцать третьем, в год прихода Гитлера к власти, вы написали эссе о Хансе Кристиане Андерсене. Помните, как девочка Герда мужественно сражается за сердце своего брата, одолевшего от дыхания Снежной Королевы... Грин засмеялся: — Я совсем позабыл эту мою статью. И скажу почти то же... Хотя нет... Припомню... — Фашизм — это своего рода оледенение сердца. Чувствовали ли вы тогда, в тридцать третьем, опасность мировой войны, которую может принести фашизм? — Грин посерьезнел: — Да, я чувствовал такую опасность с тридцать третьего по тридцать девятый. Чувствовалось, что будет война. Мы все жили под ее тенью. Эта вещь ощущалась тогда гораздо

больше, чем сегодня. Сейчас есть ядерная угроза. Она страшна для нового поколения, которое, возможно, будет ощущать эту угрозу в течение всей жизни. Но я лично не чувствую себя под такой же абсолютной неизбежной тенью, как между тридцатью третьим и тридцатью четвертым... — Считаете ли вы, что новой мировой войны можно избежать? — Да, я еще продолжаю верить в то, что ее можно избежать. А в тридцать третьем у меня такой веры не было... Я задал вопрос, на который нелегко ответить: — Что, на ваш взгляд, является причиной мировых войн? — Грин отвечал медленно, как бы находя ответ ощупью: — Перед началом второй мировой войны был сумасшедший, который каким-то образом овладел воображением многих людей. Безумие передалось от одного к другому, как истерия. Вы не наблюдали никогда, как чья-то истерия начинает вас высасывать в свой вихрь? Так Гитлер, этот сумасшедший, втягивал людей в вихрь своей истерии. Но сегодня, к счастью, у нас нет ничего подобного... Я не совсем согласился: — Но втягивание народов в войну — хотя бы «холодную» — все-таки существует. Ныне «холодная война», как Снежная Королева, — она тоже по-прежнему ведет к оледенению сердца, что мы, люди, принадлежим к разным системам, в силах предпринять для того, чтобы уничтожить «холодную войну», за которой может последовать третья и, вероятно, последняя мировая война? — Грин не был настроен песимистически: — Я считаю, что в данное время опасность существует, но она все-таки не выходит за разумные пределы... Но что такое разумные пределы опасности? Реальная ядерная угроза, нависшая над человечеством, эскалация гонимых вооружений — о какой разумности всего этого можно вести речь? Мне кажется, что в данном случае Грин попытался выдать желаемое за действительное. — А чем мы, писатели мира, могли бы помочь взаимопониманию народов? Или мы ошибаемся и слишком превеличиваем свою роль в предотвращении войн? — Сказать, что мы всецельно, действительно значили бы превеличить свою роль. Я не верю, что литература имеет большое влияние на политику, — сказал Грин. — Почему? — вырвалось у меня. Внутренне я никогда не был согласен с такой позицией. Конечно, литература и политика — разные профессии. Но разве не благодаря воспитанию литературой выдвигаются многие прогрессивные политические идеи? Разве русская литература девятнадцатого века не помогла отмене крепостного права? Однако навязывать свои взгляды Грину — человеку другой среды, другого воспитания — я не мог: все-таки это он давал мне интервью, а не я ему. — Мы не педагоги, у нас нет опыта политической власти, — пожал плечами Грин. — Наша

в своем ответе Грин был четок: — Я бы чувствовал себя лично виноватым в каждом случае, если бы не выражал своего протеста против несправедливости. В этом смысле я признаю необходимость «посланий». — Я напомнил: — В тридцать третьем, в год прихода Гитлера к власти, вы написали эссе о Хансе Кристиане Андерсене. Помните, как девочка Герда мужественно сражается за сердце своего брата, одолевшего от дыхания Снежной Королевы... Грин засмеялся: — Я совсем позабыл эту мою статью. И скажу почти то же... Хотя нет... Припомню... — Фашизм — это своего рода оледенение сердца. Чувствовали ли вы тогда, в тридцать третьем, опасность мировой войны, которую может принести фашизм? — Грин посерьезнел: — Да, я чувствовал такую опасность с тридцать третьего по тридцать девятый. Чувствовалось, что будет война. Мы все жили под ее тенью. Эта вещь ощущалась тогда гораздо

больше, чем сегодня. Сейчас есть ядерная угроза. Она страшна для нового поколения, которое, возможно, будет ощущать эту угрозу в течение всей жизни. Но я лично не чувствую себя под такой же абсолютной неизбежной тенью, как между тридцатью третьим и тридцатью четвертым... — Считаете ли вы, что новой мировой войны можно избежать? — Да, я еще продолжаю верить в то, что ее можно избежать. А в тридцать третьем у меня такой веры не было... Я задал вопрос, на который нелегко ответить: — Что, на ваш взгляд, является причиной мировых войн? — Грин отвечал медленно, как бы находя ответ ощупью: — Перед началом второй мировой войны был сумасшедший, который каким-то образом овладел воображением многих людей. Безумие передалось от одного к другому, как истерия. Вы не наблюдали никогда, как чья-то истерия начинает вас высасывать в свой вихрь? Так Гитлер, этот сумасшедший, втягивал людей в вихрь своей истерии. Но сегодня, к счастью, у нас нет ничего подобного... Я не совсем согласился: — Но втягивание народов в войну — хотя бы «холодную» — все-таки существует. Ныне «холодная война», как Снежная Королева, — она тоже по-прежнему ведет к оледенению сердца, что мы, люди, принадлежим к разным системам, в силах предпринять для того, чтобы уничтожить «холодную войну», за которой может последовать третья и, вероятно, последняя мировая война? — Грин не был настроен песимистически: — Я считаю, что в данное время опасность существует, но она все-таки не выходит за разумные пределы... Но что такое разумные пределы опасности? Реальная ядерная угроза, нависшая над человечеством, эскалация гонимых вооружений — о какой разумности всего этого можно вести речь? Мне кажется, что в данном случае Грин попытался выдать желаемое за действительное. — А чем мы, писатели мира, могли бы помочь взаимопониманию народов? Или мы ошибаемся и слишком превеличиваем свою роль в предотвращении войн? — Сказать, что мы всецельно, действительно значили бы превеличить свою роль. Я не верю, что литература имеет большое влияние на политику, — сказал Грин. — Почему? — вырвалось у меня. Внутренне я никогда не был согласен с такой позицией. Конечно, литература и политика — разные профессии. Но разве не благодаря воспитанию литературой выдвигаются многие прогрессивные политические идеи? Разве русская литература девятнадцатого века не помогла отмене крепостного права? Однако навязывать свои взгляды Грину — человеку другой среды, другого воспитания — я не мог: все-таки это он давал мне интервью, а не я ему. — Мы не педагоги, у нас нет опыта политической власти, — пожал плечами Грин. — Наша

в своем ответе Грин был четок: — Я бы чувствовал себя лично виноватым в каждом случае, если бы не выражал своего протеста против несправедливости. В этом смысле я признаю необходимость «посланий». — Я напомнил: — В тридцать третьем, в год прихода Гитлера к власти, вы написали эссе о Хансе Кристиане Андерсене. Помните, как девочка Герда мужественно сражается за сердце своего брата, одолевшего от дыхания Снежной Королевы... Грин засмеялся: — Я совсем позабыл эту мою статью. И скажу почти то же... Хотя нет... Припомню... — Фашизм — это своего рода оледенение сердца. Чувствовали ли вы тогда, в тридцать третьем, опасность мировой войны, которую может принести фашизм? — Грин посерьезнел: — Да, я чувствовал такую опасность с тридцать третьего по тридцать девятый. Чувствовалось, что будет война. Мы все жили под ее тенью. Эта вещь ощущалась тогда гораздо

больше, чем сегодня. Сейчас есть ядерная угроза. Она страшна для нового поколения, которое, возможно, будет ощущать эту угрозу в течение всей жизни. Но я лично не чувствую себя под такой же абсолютной неизбежной тенью, как между тридцатью третьим и тридцатью четвертым... — Считаете ли вы, что новой мировой войны можно избежать? — Да, я еще продолжаю верить в то, что ее можно избежать. А в тридцать третьем у меня такой веры не было... Я задал вопрос, на который нелегко ответить: — Что, на ваш взгляд, является причиной мировых войн? — Грин отвечал медленно, как бы находя ответ ощупью: — Перед началом второй мировой войны был сумасшедший, который каким-то образом овладел воображением многих людей. Безумие передалось от одного к другому, как истерия. Вы не наблюдали никогда, как чья-то истерия начинает вас высасывать в свой вихрь? Так Гитлер, этот сумасшедший, втягивал людей в вихрь своей истерии. Но сегодня, к счастью, у нас нет ничего подобного... Я не совсем согласился: — Но втягивание народов в войну — хотя бы «холодную» — все-таки существует. Ныне «холодная война», как Снежная Королева, — она тоже по-прежнему ведет к оледенению сердца, что мы, люди, принадлежим к разным системам, в силах предпринять для того, чтобы уничтожить «холодную войну», за которой может последовать третья и, вероятно, последняя мировая война? — Грин не был настроен песимистически: — Я считаю, что в данное время опасность существует, но она все-таки не выходит за разумные пределы... Но что такое разумные пределы опасности? Реальная ядерная угроза, нависшая над человечеством, эскалация гонимых вооружений — о какой разумности всего этого можно вести речь? Мне кажется, что в данном случае Грин попытался выдать желаемое за действительное. — А чем мы, писатели мира, могли бы помочь взаимопониманию народов? Или мы ошибаемся и слишком превеличиваем свою роль в предотвращении войн? — Сказать, что мы всецельно, действительно значили бы превеличить свою роль. Я не верю, что литература имеет большое влияние на политику, — сказал Грин. — Почему? — вырвалось у меня. Внутренне я никогда не был согласен с такой позицией. Конечно, литература и политика — разные профессии. Но разве не благодаря воспитанию литературой выдвигаются многие прогрессивные политические идеи? Разве русская литература девятнадцатого века не помогла отмене крепостного права? Однако навязывать свои взгляды Грину — человеку другой среды, другого воспитания — я не мог: все-таки это он давал мне интервью, а не я ему. — Мы не педагоги, у нас нет опыта политической власти, — пожал плечами Грин. — Наша

в своем ответе Грин был четок: — Я бы чувствовал себя лично виноватым в каждом случае, если бы не выражал своего протеста против несправедливости. В этом смысле я признаю необходимость «посланий». — Я напомнил: — В тридцать третьем, в год прихода Гитлера к власти, вы написали эссе о Хансе Кристиане Андерсене. Помните, как девочка Герда мужественно сражается за сердце своего брата, одолевшего от дыхания Снежной Королевы... Грин засмеялся: — Я совсем позабыл эту мою статью. И скажу почти то же... Хотя нет... Припомню... — Фашизм — это своего рода оледенение сердца. Чувствовали ли вы тогда, в тридцать третьем, опасность мировой войны, которую может принести фашизм? — Грин посерьезнел: — Да, я чувствовал такую опасность с тридцать третьего по тридцать девятый. Чувствовалось, что будет война. Мы все жили под ее тенью. Эта вещь ощущалась тогда гораздо

в своем ответе Грин был четок: — Я бы чувствовал себя лично виноватым в каждом случае, если бы не выражал своего протеста против несправедливости. В этом смысле я признаю необходимость «посланий». — Я напомнил: — В тридцать третьем, в год прихода Гитлера к власти, вы написали эссе о Хансе Кристиане Андерсене. Помните, как девочка Герда мужественно сражается за сердце своего брата, одолевшего от дыхания Снежной Королевы... Грин засмеялся: — Я совсем позабыл эту мою статью. И скажу почти то же... Хотя нет... Припомню... — Фашизм — это своего рода оледенение сердца. Чувствовали ли вы тогда, в тридцать третьем, опасность мировой войны, которую может принести фашизм? — Грин посерьезнел: — Да, я чувствовал такую опасность с тридцать третьего по тридцать девятый. Чувствовалось, что будет война. Мы все жили под ее тенью. Эта вещь ощущалась тогда гораздо

больше, чем сегодня. Сейчас есть ядерная угроза. Она страшна для нового поколения, которое, возможно, будет ощущать эту угрозу в течение всей жизни. Но я лично не чувствую себя под такой же абсолютной неизбежной тенью, как между тридцатью третьим и тридцатью четвертым... — Считаете ли вы, что новой мировой войны можно избежать? — Да, я еще продолжаю верить в то, что ее можно избежать. А в тридцать третьем у меня такой веры не было... Я задал вопрос, на который нелегко ответить: — Что, на ваш взгляд, является причиной мировых войн? — Грин отвечал медленно, как бы находя ответ ощупью: — Перед началом второй мировой войны был сумасшедший, который каким-то образом овладел воображением многих людей. Безумие передалось от одного к другому, как истерия. Вы не наблюдали никогда, как чья-то истерия начинает вас высасывать в свой вихрь? Так Гитлер, этот сумасшедший, втягивал людей в вихрь своей истерии. Но сегодня, к счастью, у нас нет ничего подобного... Я не совсем согласился: — Но втягивание народов в войну — хотя бы «холодную» — все-таки существует. Ныне «холодная война», как Снежная Королева, — она тоже по-прежнему ведет к оледенению сердца, что мы, люди, принадлежим к разным системам, в силах предпринять для того, чтобы уничтожить «холодную войну», за которой может последовать третья и, вероятно, последняя мировая война? — Грин не был настроен песимистически: — Я считаю, что в данное время опасность существует, но она все-таки не выходит за разумные пределы... Но что такое разумные пределы опасности? Реальная ядерная угроза, нависшая над человечеством, эскалация гонимых вооружений — о какой разумности всего этого можно вести речь? Мне кажется, что в данном случае Грин попытался выдать желаемое за действительное. — А чем мы, писатели мира, могли бы помочь взаимопониманию народов? Или мы ошибаемся и слишком превеличиваем свою роль в предотвращении войн? — Сказать, что мы всецельно, действительно значили бы превеличить свою роль. Я не верю, что литература имеет большое влияние на политику, — сказал Грин. — Почему? — вырвалось у меня. Внутренне я никогда не был согласен с такой позицией. Конечно, литература и политика — разные профессии. Но разве не благодаря воспитанию литературой выдвигаются многие прогрессивные политические идеи? Разве русская литература девятнадцатого века не помогла отмене крепостного права? Однако навязывать свои взгляды Грину — человеку другой среды, другого воспитания — я не мог: все-таки это он давал мне интервью, а не я ему. — Мы не педагоги, у нас нет опыта политической власти, — пожал плечами Грин. — Наша

в своем ответе Грин был четок: — Я бы чувствовал себя лично виноватым в каждом случае, если бы не выражал своего протеста против несправедливости. В этом смысле я признаю необходимость «посланий». — Я напомнил: — В тридцать третьем, в год прихода Гитлера к власти, вы написали эссе о Хансе Кристиане Андерсене. Помните, как девочка Герда мужественно сражается за сердце своего брата, одолевшего от дыхания Снежной Королевы... Грин засмеялся: — Я совсем позабыл эту мою статью. И скажу почти то же... Хотя нет... Припомню... — Фашизм — это своего рода оледенение сердца. Чув